УДК 316.48

АЛЕЙНИКОВ А.В.

Национальная конфликтная модель: сущность и основные российские черты

В статье предпринята попытка выявить и проанализировать системные характеристики и основные составляющие национальной конфликтной модели, которая формируется на основе таких противоречивых и неустранимых национально-исторических, социально-психологических, социокультурных, политико-культурных свойств социума, которые определяются как «кентавичность». Показано, что существует два типа конфликтного стиля переходного общества. Значительное место уделено анализу российской специфики конфигурации системы институционального разрешения конфликтов, при которой она обеспечивается не в результате интериоризации социальных норм, а путем вмешательства власти

Ключевые слова: Россия, конфликтная модель, конфликтный стиль, трансформация, конфликт, власть.

Противоречивый ход реформ в России, «долгий путь через “долину слез” и “юдоль печали” » (Дарендорф) заставляют сегодня пересмотреть используемые способы понимания и объяснения современных процессов в трансформируемом российском обществе.

Анализируя конфликты современного мира, Славой Жижек утверждает, что «подлинный посыл «нерациональных» народных протестов по всей Европе: протестующие великолепно понимают, что их знания недостаточны, они не претендуют на быстроту и легкость ответов, но их инстинкт подсказывает им несомненную истину – что облеченным властью также невдомек, как надо действовать. *В Европе сегодняшнего дня слепые ведут слепых*»[1].

Движение российского социума по всем векторам изменений сопровождается усилением конструктивных напряженностей в политической, экономической и социальной сферах. С. Льюкс характеризовал эти процессы как «системные искажения» или «перекосы»[2]. Российская трансформационная модель оказывается, говоря словами Дугласа Норта, «отрезвляющим примером того, как может работать человеческое стремление к созданию преднамеренно структурированного общества», и может служить примером наиболее поразительного случая «умышленно вызванного, быстрого распада государства во всей человеческой истории»[3].

Несомненно, процессы российских трансформаций многоплановы и полиаспектны и представляют, говоря словами Р. Коллинза, « запутанный многосторонний процесс конфликта на нескольких фронтах»[4]. Значимость исследования российских «кейсов» системных конфликтов модернизационных рисков глобального мира «текучей современности» (З. Бауман) («реалистические» и «нереалистические» конфликты Л. Козера, «рациональные» и «нерациональные» конфликты Т. Шеллинга, «деструктивное поведение» и «конфликтное поведение» Й. Галтунга, «противоречие» и «конфликт» Э. Гидденса, «конфликты интерпретаций» П. Рикера, «конфликты идентичностей» Д. Бертона и Д. Ротмана), представляется особенно очевидной в силу того, что сегодня необходимо представлять драйверы и триггеры[5] возможного разрушения российской системы. Ключевым в данном контексте представляется анализ тенденций повторения определенных институциональных схем и

исторических истоков трудностей имплантации модернизационных проектов в России.

Корпус опубликованных в последнее десятилетие научных работ по проблеме трансформации в России довольно значителен, а разнообразие оценок российского политического развития и его перспектив многомерно. При этом эта рефлексия поиска искомой сущности России предельно конфликтна и сегодня, и в прошлые века. Сколько-нибудь полное, даже сугубо библиографическое описание этого пласта работ политиков и политтехнологов, публицистов и академических политологов, философов и социологов в рамках статьи представляется невозможным.

Настоящая работа нацелена на выявление существующих пробелов в данной области и рассмотрение имеющихся стратегий ликвидации таких пробелов. Сэр Ральф Дарендорф утверждал, что «необходима как равновесная, так и конфликтная модель общества; и может быть, в философском анализе у человеческого общества всегда два лица, наделенных одинаковой реальностью: одно лицо – стабильности, гармонии и консенсуса, а другое – изменения, конфликта и принуждения»[6]. Конфликтная модель общества, таким образом, является мощным «ресурсом возможных описаний» (Макс Вебер) трансформаций социума.

Вопрос о национальной конфликтной модели может быть сведен к вопросу о социальных, психологических, политических механизмах разрешения конфликтов, который, в свою очередь, может быть рассмотрен в следующих рамках:

– *критерии упорядоченности социальных полей конфликта* – в социуме либо сформированы устойчивые представления о приемлемом уровне конфликта как продуктивного элемента социального взаимодействия, позволяющего отрефлексировать собственную позицию, оптимизировать конфликтную ситуацию, внести в нее необходимые коррективы, либо отрицается продуктивность конфликта, а признается лишь борьба на уничтожение;

– *мера антропоцентричности или власте(иерархо)центричности,* в способах действий или механизмах разрешения конфликтов. В первой модели данные механизмы определяются институциональной системой «работы» с конфликтом, соизмеримой с человеком и ориентированной на него, в которой решение конфликтных социальных проблем ищут в гражданских сетевых связях, на разных уровнях, в различных точках горизонтальных коммуникаций. Во-второй – коммуникативные конфликтные отношения завязываются на власть, единственным, закрепленным в традициях способом действий является жалоба начальству, *все неразрешенные конфликты центрируются на вершину* управленческой пирамиды, где социальный организм концентрирует конфликты и куда канализируется конфликтная социальная энергия, некомпенсированная, неперекрытая и нецивилизованная. Истина, сила и право в разрешении конфликтов всегда остаются за иерархией, которая является носителем и выразителем идеи целого, всегда стремящегося к снятию конфликта *всеми сдерживающими, репрессивными, силовыми способами*. В этой парадигме конфликт зачастую разрешается или покупается ценой победы иерархии над здравым смыслом;

– ***критерии эстетической оформленности конфликта*** – обеспечивает ли стиль разрешения конфликта, выхода из негативной ситуации психологический комфорт, рождает ли чувство защищенности? Перефразируя Олдоса Хаксли, можно сказать, что «главное ведь не в том, чтобы выйти из конфликта, а в том, кем ты выйдешь». Очевидно, что конфликтная модель общества определяется структурным контекстом, социальной средой,), «т.е. тем или иным типом общества. Разные типы обществ генерируют разные типы политических конфликтов»[7].

Отправной точкой описания и анализа конфликтной модели общества может быть выделение двух основных уровней. Первый – онтологический, типологизирующий конфликтные ситуации данного типа общества, их структуру, свойства и особенности которых остаются инвариантными. Конфликтные модели обществ разграничены по разным типам взаимосвязей между вызовами и ответами и разными стратегиями

преодоления социального дискомфорта, типов поведения в конфликте. Следовательно, речь о наличии или отсутствии (искаженности) в обществе институциональной обеспеченности интегрирующих механизмов, сочетании условий, позволяющих компенсировать или нейтрализовать структурные конфликты внутри социума.

Второй – операциональный, т.е. совокупность приемов конфликторазрешения, выработанных и используемых в рамках данного типа общества, набор стереотипных сценариев конфликтного поведения. В данном исследовательском сюжете важно, что в условиях посткоммунистического перехода политический конфликт, логика оппозиций превращается в войну за государство, в технологию создания искусственной политической конфликтогенности как социальной нормы. В глобальном индексе миролюбия[8] (Global Peace Index) Россия занимает 153-е место из 158 между Корейской Народно-Демократической Республикой и Демократической Республикой Конго. Т. Парсонс утверждал, что именно ценностно-нормативный консенсус в обществе обеспечивает социальный порядок, а максимальное распространение не находящихся в конфликтных отношениях, потенциально примиряемых базовых ценностей и норм, их институционализация обеспечивает стабильность и четкое функционирование общества[9]. В сравнительном же исследовании ценностей, проводимом В. Магуном и М. Рудневым по методике Ш. Шварца, было показано, что по параметрам «благожелательность» и «универсализм» (приятие чужого) Россия среди европейских стран стоит на одном из последних мест и принадлежит к числу европейских стран с низким межиндивидуальным ценностным консенсусом по большинству базовых ценностей [10].

Почему это произошло? Или, вернее, почему не произошло обратного – движения от «токсичных» видов социальных конфликтов, не поддающихся институционализации и несущих угрозу существованию общества, в сторону по преимуществу «позитивных» (не приводящих к разрушению социума) механизмов социальной динамики: неконфликтных изменений и конфликтов, поддающихся институционализации и составляющих тот политико-социальный континуум, в котором могут развиваться и консолидироваться демократические модернизационные процессы? Первым шагом к ответу на эти вопросы является понимание того, с чем мы имеем дело при изменениях, по формуле Т. Парсонса, «институционализированных стандартов»[11] нормативной конфликтологической культуры российского общества. С глубинным архетипом «конфликтологического разума» российского народа, предопределяющего « токсично-конфликтогенный»[12] тип нашего развития еще на многие годы вперед?

Приведем замечательную красноречивую формулировку в одном из выступлений на солидной научной конференции: «*Мы – страна сбывшейся конфликтологии*»[13]. А вот что пишет другой авторитет: «Российское общество в 1861–1914 гг. развивалось «по сценарию, как будто специально написанному для него теорией социального конфликта, – конфликт стал неотъемлемой частью общественной жизни, а вражда различных социальных групп, борьба за групповые интересы, насилие ради их достижения -нормой»[14]. Естественно, что хронологические рамки данного сценария гораздо шире.

Отмечаемая в многочисленных исследованиях и свидетельствах очевидцев видимая легкость распада имперской России в 1917 г. и Советского государства в 1991 г. подтверждают концептуальный вывод Ю. Пивоварова: «Русское государство, русская институциональная система, даже русская полицейщина – при всей их грозности, грузности, громадности, при всех страхах, которые они наводили (наводят – это сохранилось) на ближних и дальних, – чрезвычайно неустойчивы, неэластичны, неэффективны, но: хрупки и ненадежны»[15] – и показывает «тот наворот русской жизни, который состоит в том, что русский человек ставит себя в… ситуацию всегда предельную (!), выход из которой – всегда радикальный (или в ту, или в иную сторону)»[16]. Корни увеличения социальной напряженности и конфликтности в российском обществе – в асинхронном преобразовании различных сфер социума, в дисгармонии между культурными, политическими и экономическими ценностями и приоритетами, разделяемыми

разными социальными группами. Во-вторых, в противоречивом сочетании конфликтующих укладов – феодального и постсовременного, в конгломератном характере общества, для которого «характерно длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделеобразующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты образуют внутри общества отдельные анклавы, эффективность организованности которых позволяет анклавам выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции»[17].

Зафиксируем: силовые линии социального поля (зоны социального пространства, в которых конфликтное взаимодействие принимает особо интенсивный характер), по которым можно оценивать напряженность социума, в российском (и в общем и в постсоветском) пространстве быстро проходят некий пороговый уровень и радикально меняют социально-политический ландшафт в считанные дни и даже часы. О том же повествует и Д. Фурман: «Опыт других систем этого “вида” говорит о том, что летальный кризис всегда “подкрадывается незаметно” – его неожиданность имманентна системам, в которых нет обратной связи власти и общества, где в избытке поступают сигналы об опасностях не реальных, но не поступают сигналы об опасностях реальных»[18].

П. Штомпка, разрабатывая теорию переходных состояний, выдвинул концепт травмы как определенной патологии социума, когда контекст человеческой жизни и социальных действий теряет гомогенность, согласованность и стабильность[19]. Травматические события[20] вызывают нарушение привычного образа мысли и действий, меняют, часто трагически, жизненный мир людей, их модели поведения и мышления. Могут быть травмы, не основанные на травматических ситуациях, а вызванные распространением представлений об этих событиях. К состояниям негативных последствий социальных перемен, схожим с культурной травмой, относятся аномия, цивилизационная некомпетентность, социальное трение, синдром недоверия, коллективное чувство вины, коллективное чувство стыда, кризис идентичности, кризис легитимности, культурный лаг.

Штомпка выделяет особенности травматического посткоммунистического состояния[21], что вполне адекватно и для России: дихотомия бинарных оппозиций «дискурса реального социализма» и «дискурса появляющегося капитализма». Оба дискурса различаются по параметрам: а) коллективизм – индивидуализм; б) частное – общественное; в) прошлое – будущее; г) рок – человеческая активность; д) свобода – последствия (иными словами – «свобода от» и «свобода чего-то»); е) мифы – реализм; ж) эффективность – справедливость. Как артикулировал Л. Козер, «в крайне поляризованных социальных системах, где внутренние конфликты разных типов накладываются друг на друга, единое прочтение ситуации и общность восприятия событий всеми членами системы вряд ли вообще возможны. В условиях, когда группа или общество раздираемы враждой лагерей вне всякой объединяющей цели, заключение мира становится почти невозможным, так как ни одна из внутренних партий не желает принять определение ситуации, предложенное другими»[22].

Травматологическая метафора Штомпки, таким образом, акцентирует внимание на признаках дезинтеграции посткоммунистического общества, его системной конфликтности. Операционализируя данный концепт, можно предположить, что существует два типа *конфликтного стиля переходного* общества. Один, постоянно реконфигурируя конфликты, не допуская острых вспышек, раскручивает спираль социальной реконструкции и приводит к внедрению нового социального комплекса, конфликт «выполняет функции стабилизации и интеграции внутригрупповых отношений. Предоставляя обеим сторонам безотлагательную возможность для прямого выражения противоречащих друг другу требований, такие социальные системы могут изменить свою структуру и элиминировать источник недовольства. Свойственный им плюрализм конфликтных ситуаций позволяет искоренить причины внутреннего разобщения и восстановить социальное единство»[23].

Другой, выстраивая такую конфигурацию разрешения, вернее подавления, конфликтов, при которой она обеспечивается не в результате интериоризации социальных норм, а насильно, путем вмешательства власти, может положить начало спирали социального разрушения, упадку и полной дезинтеграции общества. По Зигмунду Бауману, общество обречено на умирание, на полный коллапс социально-нормативной системы, если отмирание традиционных институтов не восполняется новыми институтами неформального общения и социального контроля[24]. Такой конфликтный стиль Р. Дарендорф сравнивал со злокачественной опухолью: "Тот, кто умеет справиться с конфликтами путем их признания и регулирования, тот берет под свой контроль ритм истории. Тот, кто упускает такую возможность, получает этот ритм себе в противники"[25]. По-видимому, нет такого социума, где дуалистического политического, экономического и т.д. пространства (поля) не существовало бы вообще.

Конфликт, по Зиммелю, и предназначен для решения любого дуализма, это – способ достижения своеобразного, даже если оно достигается ценой уничтожения одной из сторон, участвующих в конфликте, единства[26]. Конфигурация дуалистического поля может быть простой или сложной, тематизация (в духе Лумана) – различной; рутинизация практик – разнообразной. Структурная аранжировка и комбинаторика конфликтов могут иметь разные измерения, адаптируя уже известные институты и структуры конфликторазрешения или вырабатывая новые.

Все зависит от того, каков «национальный стиль» развития страны в миросистеме, характеризующийся особенностями режимов и грамматик, жестко или нежестко навязываемых миросистемой правил»[27], какова природа конфликта постсостояния между воздействием традиций прошлого и их публичным отвержением (Дарендорф).

Наиболее содержательным, ясным и конструктивным концептом, описывающим специфику российской конфликтности, в русской философско-политической мысли является текст Николая Бердяева в сборнике статей «Судьба России»[28]. Конечно, страсть Бердяева к парадоксам и цветистой афористичности неоднократно служила поводом к оценкам данных его воззрений как «социологически-поверхностных». Но можно вполне согласиться с Н.С. Розовым: «За прошедшие почти сто лет, несмотря на огромную литературу на ту же тему, продвижение в сравнении с идеями Бердяева, мягко говоря, скромное»[29]. Рассматривая социальную реальность российского общества, философ вычленяет такие его системообразующие признаки, которые можно, по нашему мнению, операционализировать через понятие «конфликтологический генотип». Это устойчивый, самовоспроизводящийся в историческом времени комплекс социальных структур (отношений, организаций и институтов), совокупность закономерностей историко-конфликтной генетики, специфический стержень, определяющий национальную специфику конфликта, поведения в нем социальных субъектов и методов его регулирования. Суть «конфликтологического генотипа» – в передаче от поколения к поколению главных черт, стереотипов конфликтного восприятия социальной действительности, допустимых рамок развития конфликтов, закрепленных в обычаях предпочтительных способов и методов их разрешения, это определенный уровень навыков поведения в конфликте.

Философ утверждает, что *«подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость»*[30]. Перенос Бердяевым понятия «антиномия» из сферы идей в сферу общества означает обнаружение таких противоречивых свойств социума, которые, постоянно переходя друг в друга, неустранимы. Бердяевская «кентавичность», противоречивое совмещение прошлого с новыми реалиями, определяет *конфликтный стиль* обществ, находящихся в процессе трансформации, в переходном состоянии. А. Кустарев подметил, что «государство может стилизовать себя разным образом в зависимости от его сближения с другими типами общности. *Le style, c'est l'etat...* Выбор стилизации – самый ответственный и самый решающий момент в жизни государственной общности; от него зависит способность государства выбрать

себе эффективную организацию (конституцию), адаптироваться к своему размеру-составу-ресурсам, а стало быть, и самоутвердиться в мировом сообществе государств»[31]. В 1965 г. вышла книга Ральфа Дарендорфа «Общество и демократия в Германии»[32], ряд положений которой развит и в известном труде «Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы»[33]. Используя теорию конфликта для анализа специфики истории Германии, Дарендорф определяет характеристики немецкого общества, служившие препятствием созданию демократического порядка, и выявляет инструменты и способы, которые могли бы способствовать изменениям. Проблемы демократизации связаны именно с отсутствием такого политико-социального континуума, при котором конфликты не регулируются рационально, якобы «решаются», а на деле подавляются. Среди причин «структурной неспособности» Германии к демократии Дарендорф особо выделял *модернизационный дефицит, выражавшийся в неспособности разрешать конфликты ненасильственным путем,* и неспособность элит к конкуренции друг с другом *в системе объединяющего разнообразия.*

Любой процесс взаимодействия людей, всегда в какой-то степени отличающихся друг от друга потребностями и возможностями, внешними условиями жизнедеятельности, неодинаковыми индивидуальными предпочтениями, всегда будет характеризоваться наличием между ними *конфликта.* Конфликтное взаимодействие рациональных индивидов (т.е. стремящихся к максимизации степени удовлетворения своих предпочтений) приводит к возникновению необходимости согласования их предпочтений, поскольку достижение такого согласия позволяет снизить издержки конфликта. Конечным результатом процесса согласования конфликтных интересов является создание институтов (действующих и выполняемых правил), устанавливающих определенные рамки или ограничения в отношениях взаимодействующих сторон конфликта и обеспечивающих соблюдение установленных правил взаимодействия. Само *общество* может быть определено как *система институционально ограниченных конфликтов между людьми.* Социум имеет место только при условии действия определенных правил (институтов), по которым развиваются конфликты, а *политический процесс* может быть также определен как *процесс согласования позиций сторон в конфликте*[34]*. При этом* существующая институциональная структура разрешения конфликтов может «загнать» (Дуглас Норт) общество в определенное русло развития. Причины неудач модернизационнных проектов на российском пространстве во многом определены конфигурацией *системы институционального ограничения конфликтов и* слабостью «конфликтно-позитивных», консенсусных ценностей и установок в структуре мотивационных характеристик как массового, так и элитарного сознания[35].

Вполне очевидно, что проекции управления, власти и т.д. в конфликте стремятся к этизации и эстетическому оформлению. Политико-экономический маргинализм в конфликте означал бы утерю *«антропологического», т.е. выводил бы конфликт* за формат переживаемого социальным субъектом. В этой доминанте редуцирования конфликта к функциональным отношениям институций и субъектов невозможно достаточно эффективно выстроить политические механизмы и институты, внутриполитический дизайн социального конфликтного поля, поскольку они не будут восприниматься как *жизненные, ибо лишаются* этического переживания. В пространстве конфликта необходима демонстрация перспективы, невозможная без особой топологической соотнесенности взаимодействия этического и политико-экономического.

В российской практике реализуется в основном модель использования насилия ради достижения групповых интересов в формате открыто манифестируемой вражды различных социальных групп при осознанном использовании политических технологий интенсификации и эскалации конфликтов, в том числе с использованием приема поисков внутреннего и внешнего врагов. В контексте этой устойчивой тенденции социального развития, политической традиции и политической культуры возникает эффект преобладания административных методов регулирования конфликтности и доминирования неформальной

составляющей институциализации конфликтов. Разумеется, было бы непростительной самонадеянностью безапелляционно требовать от акторов российской политики понимания таких инструментальных возможностей адекватного разрешения политических конфликтов, как, например, честность. Напротив, используются все возможности «отрицания и сокрытия конфликта ложью, обманом, ложными символами»[36]. Но отдельные правила, нормы, рутинные процедуры и практики, из которых складываются различные институты конфликторазрешения, и институциональная среда конфликтов в целом должны строиться на взаимном сдерживании «противопоставленных интересов». Дэвид Юм называл этот принцип «равенством сопротивлений», Георгий Гачев – «взаимной дополнительностью».

В качестве модели концептуализации можно использовать формулу западного исследователя демократии Чарлза Тилли, согласно которой демократия – это широкие, равноправные, взаимообязывающие, защищенные консультации по поводу назначений на политические посты и принятия государственных решений [37].

Наиболее заметным проявлением такого формата отношений является технологичное и компромиссное вскрытие глубоких сущностных проблем при котором имманентное качество политической культуры – перевод ранее скрытых конфликтов в открытое публичное пространство, их обнажение. По Луману, конфликтность – «естественное» состояние и ресурс коммуникативной эволюции общества, в правовых обществах конфликтов не избегают, они не подавляются, а, напротив, расширяют их возможности, стремясь «избежать лишь насильственного разрешения конфликтов и обеспечить каждому из них подходящую форму коммуникации»[38]. Таким образом, в данной конфликтной модели общества восприятие конфликта – это не ужас перед вскрытием пережатых каналов коммуникации, когда хлынет застоявшееся содержимое, а упорядочивание коммуникативного хаоса, мотивация, позволяющая «действовать необычным образом» с целью оздоровления экономической или политической системы и мотивировать действия акторов, нацеленных на принципиально новые модели поведения и модернизацию социальных институтов в настоящем и будущем.

Между тем в России стороны конфликта, как правило, в том числе и путем коррекции институциональных правил, готовятся к не к компромиссу, а к максимальной напряженности. Луман называет это «проблемой избыточного давления», когда «разочарованных побуждают продемонстрировать, что в своих ожиданиях они придерживаются своих ожиданий спровоцировать конфликт и, по возможности, настоять на своем. К тому, кто на этом основании делается агрессивным, трудно подступиться, потому что приходится считать, что он сам по себе прав. Однако следствия могут выходить далеко за пределы повода. И то, что предусматривалось в качестве публичной поддержки и тем самым содействовало решимости ожидаемого, может стать проблемой общественного возмущения»[39].

Реализовать в рамках данной модели требования к заинтересованности всех акторов конфликтного процесса в установлении общих правил игры, признания их взаимной необходимости и ценности практически невозможно. Правила координации и разрешения конфликтов всякий раз разные и всякий раз устанавливаются под действием силы, механизмы согласования складываются в основном на неформальном уровне. «Поскольку же в России так и не сложилась правильная институциональная система, все задачи управления становятся чрезвычайными»[40], то можно сказать, что российская власть, навязывая неравенство сторон конфликта, борется с ним, а не защищает стороны от уничтожения. Не допуская конфликты в политику, монетизируя монополию на насилие, «сливая» конфликты и не умея ими управлять, власть формирует спрос на их создание, создавая, по определению Г. Павловского, «бизнес манипуляции угрозами и ложными повестками дня». Нити, идущие от власти к социуму, обрываются. Их конфликтность тихо стирается заодно с рядом важных ответов. Стрессовая неопределенность порождает потребность в определенности, что в политическом плане означает принятие властью на себя заботу о предсказуемости, определенности, стабильности.

Такие действия чаще всего влекут за собой новые конфликты, иногда и вовсе фатальные последствия для акторов и имеют для них не меньшее значение, чем конституционные преобразования и экономические реформы. Характерным и убедительным в силу "чистоты эксперимента" и индикативной яркости (одно из ведущих мест в мире по количеству ДТП и погибших в них) примером этой черты функционирования отечественных институтов – стремления обойти формально предписанные нормы – является уровень соблюдения Правил дорожного движения и способов разрешения конфликтов по этому поводу как между участниками, так и с представителями власти.

Обнаруживается принципиальная перегруженность российского общества неуправляемыми конфликтами, накопление их в приватных руках, устранение в частных интересах. Российская власть, не решая конфликты и не справляясь с ними, «всегда занята недопущением их в политику. Ни один участник конфликта не найдет в ней арбитра без сложного и дорогого поиска**.** *Не управлять* оказывается выигрышной стратегией руководства»[41].

Характерной чертой подобной модели является неспособность к устранению системных конфликтов и конструктивных напряжений, неизменное откладывание принципиальных решений «на потом» (пенсионная реформа – один из штрихов этой картины российских управленческих практик). Отмеченный тренд выстраивания системы управления конфликтами хорошо описывается крылатой фразой из фильма «Белое солнце пустыни»: «Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться? – Лучше б, конечно, помучиться». Существенно следующее. Конфликт как имманентная составляющая социальной жизни вызывается разными причинами, служит разным целям и реализуется разными средствами, обладает собственной динамикой и не всегда может быть стандартизирован и редуцирован до рутинных правил и процедур. Набирая силу, конфликт может подчинить себе механизмы мотивации и трансформироваться из способа достижения цели в самоцель, затрагивая все чувства и целеполагания, становясь, в терминологии К. Шмитта, экзистенциальной враждой не на жизнь, а на смерть. Для российского политического дискурса вообще характерна метафора «"переднего края" какой-нибудь борьбы, которым в разные времена (в особенности советские, но и в постсоветские тоже) и по разным причинам объявлялись, кажется, все российские регионы, институты и просто области человеческой жизни»[42].

Переведя сказанное на исследовательский язык конфликтологии, такие конфликты не канализируются и не регулируются, а только подавляются или исчерпываются с течением времени. Это особенно важно для российского общества, где многое сконструировано или на разрывах, или на компенсаторной активизации традиционных механизмов и связей. Действие неканализированных конфликтов, выходящих за рамки предсказуемого и регулируемого поведения, сопряженного с минимальными возможными издержками, приобретает ту высшую степень интенсивности, какую могут обрести противоречия и несогласия, которую Шмитт определял как «друг/враг», обессмысливают перемены, демпфируют их, придают им новые ориентиры, «переопределяя» развитие. Существенным образом дополняют и расширяют этот тезис наблюдения Александра Филиппова о современном политическом процессе в России: «Впервые за несколько лет у нас появляются именно публичные политические группы, готовые к экзистенциальному противостоянию. Еще не столь враждебны их действия, еще нет не то что признаков, но и предчувствия гражданской войны. Но уже есть дискурс ненависти, риторика «друг/враг». Политическое размежевание – и это еще одна важная особенность, о которой следует помнить, – может развиться из любой противоположности – религиозной, экономической и даже эстетической. Поводы для размежевания могут быть любой природы. Но при этом само размежевание достигает такой степени интенсивности, что оппоненты или конкуренты становятся именно врагами и под углом зрения смертельной, экзистенциальной вражды видят все остальное. Вражда приобретает собственную динамику, политическое подминает под себя все и высасывает всю энергию из других

областей жизни. Тогда государству грозит гражданская война и распад, если только не будет новой консолидации, если не появится новое единство «политического народа», противостоящего другим народам как врагам, но искоренившего вражду внутри себя»[43]. Конфликтно-репрессивный тип решения проблемы «свой -чужой», характерный для России, противоположен открытым обществам, типичной характеристикой которых является взаимообусловленность сосуществования «Я» и «Другого», выраженная в интерпретации Сартра: «мне нужен другой, чтобы целостно постичь все структуры своего бытия». Таким образом, ключевое значение приобретают *механизмы разрешения конфликтов*, определяющие характер социального, политического, экономического и культурного ландшафта или, иначе говоря, *ключевой способ* конфликторазрешения в том или ином обществе.

Сергей Цирель предложил концептуальный инструментарий анализа холодных и теплых обществ, который исходит из того, что оппозиция Запад vs Восток характеризует в первую очередь тип институтов, а оппозиция «холодные общества» vs «теплые общества» – количество институтов и их устойчивость. Многочисленные формы расколов и противостояний есть следствие чрезмерного разнообразия на низших уровнях иерархии, препятствующее разнообразию на верхних уровнях иерархии и формированию действенных институтов[44]. Базовые суперпозиции построения институциональной модели полей конфликта носят для культурно-исторических традиций «холодных» или «теплых» обществ *парадигматический характер*. Коренное различие состоит в том, что для «холодной» модели характерна медиативная структура, тогда как для «теплой» – дуалистическая. При доминанте дуалистического принципа стороны конфликта стремятся к максимальной партисипации, т.е. к экзистенциальному отнесению к одному из полюсов при максимальном взаимоотчуждении. Субъекты конфликтного взаимодействия предельно герметизированы. Односторонняя партисипационная направленность порождает симметричные негативные действия. Конфликт перестаёт адекватно описываться, начинает «разбухать», его содержательные и позитивные значения нерефлективно поглощаются негативными смыслами и коннотациями. Поле конфликта «разворачивается» сверх меры, сохраняющей необходимый уровень стабильности социума, место конструктивных противоречий занимают противоречия деструктивные, «перетягивание каната» закрывает возможность для социальной динамики. Происходит деэтизация, деэстизация и «раскультуривание» конфликта.

В отличие от этой парадигмы, моделирующей динамику конфликтов в закрытой системе и стремящейся максимально блокировать диалоговую составляющую, медиативная структура предполагает принцип *открытости* конфликта, динамичное взаимодействие в *реальном снятии конфликтной оппозиционности.* Это наиболее продуктивная форма конфликтного процесса.

Особенности «теплой» конфликтной модели характерны и для России, причем в нашей стране они имеют долгую историю. Для понимания уместно и полезно вспомнить «конфликтную» характеристику российского общества М.М. Сперанского: «Россия, разделённая в видах разных состояний, истощает силы свои взаимной борьбой их и оставляет на стороне правительства всю неограниченность действия»[45].

«*Драйверами*» (движущими силами) увеличения социальной напряженности и конфликтности в обществе являются асинхронное преобразовании различных сфер социума, дисгармония между культурными, политическими и экономическими ценностями и приоритетами, разделяемыми разными социальными группами. Во-вторых, противоречивое сочетание конфликтующих укладов – феодального и постсовременного – в конгломератном характере общества, для которого «характерно длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделеобразующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты образуют внутри общества отдельные анклавы, эффективность организованности которых позволяет анклавам выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции»[46].

«*Триггером*» («спусковым крючком»), т.е. малыми воздействия, непосредственно провоцирующими нарушение равновесия системы конфликтность, становится явная демонстрация публичности всех наличествующих конструктивных напряженностей и конфликтов, открытое манифестирование имеющегося у него права и мобилизации полного меню вовлеченных в генерацию власти авторитативных и аллокативных ресурсов, позволяющих участвовать в этих конфликтах открыто на стороне определенных акторов. Жесткость ответов государства на вызовы оппозиции будет зависеть исключительно от степени ее радикальности, создавая условия-контексты для структурального противоречия («разобщение или дизъюнкция структуральных принципов организации социальной системы»[47]), преобразующееся в «political cleavage» усилиями политических акторов, артикулирующих и институционализирующих, фрагментарные ориентации, ценности и социальные практиками тех или иных социальных общностей.

В такой системе координат это приводит к неизлечимой патологически-разрушительной конфликтности социума, поскольку усиление жестких силовых обертонов в управленческих практиках, распространение силовых стратегий власти с репрессивным окрасом (запрещение, предотвращение, уничтожение) минимизируют позитивные возможности конфликта. Мы уже отмечали, что конфликт – это не только особый вид отношений социальных и политических акторов друг к другу, но и особый тип мышления акторов об отношениях между собой. В России, похоже, на стратегическом уровне политической рефлексии крайние, предельные формы конфликта (мантры об исчерпанности лимита революций или о российском бунте – “бессмысленном и беспощадном”) как бы запланированы и только ждут своей реализации при определенных условиях в политической практике. Конфликт редуцируется до разнообразных политических и социологических спекуляций об особенностях повседневного поведения или политического языка его субъектов.

[1] Жижек С. Когда слепой ведет слепого: демократия как жертва // [Электронный ресурс] // Гефтер. URL:http://gefter.ru/archive/author/zizek (дата обращения: 03.02.2013).

[2] Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010.

[3] Норт Д.Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом гос. ун-та—Высшей школы экономики, 2010. С. 23, 17.

[4] Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. С. 101.

[5] Мельвиль Ю.А.,Тимофеев И.Н. 2020: российские альтернативы revisited// Полития: Анализ. Хроника. Прогноз, 2010. № 2. С. 42–65.

[6] Дарендорф Р. Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002. С. 358.

[7] Глухова А.В.Политические конфликты:основания,типология,динамика(теоретико-методологический анализ).М.: ЛИБРОКОМ, 2010. С. 53.

[8] Глобальный индекс миролюбия определяется агрегированием 23 показателей, объединенных в три основные группы: наличие и масштабы внутренних и международных конфликтов, в которых участвует государство; уровень стабильности и безопасности внутри государства; уровень милитаризации государства оценивается по шкале от 1 (максимальное миролюбие) до 5 (минимальное миролюбие). Для постсоветской России индекс миролюбия в 2012 году составил 2,938. Первое место по миролюбию (индекс 1,113) заняла Исландия, а последнее (индекс 3,392) – Сомали. См.: Нисневич Ю.А. Постсоветская Россия: двадцать лет спустя // Полис, 2013. № 1.

[9] Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002.

[10] Вестник общественного мнения, 2008, № 1, С. 33–58; Вестник общественного мнения, 2011, № 4. С. 81–97.

[11] Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000. С. 701.

[12] В терминологии Дэвида Лэндеса: «Существуют культуры, которые я называю токсичными… они калечат тех, кто держится за них» (Culture Counts: Financing, Resources, and the Economics of Culture In Sustainable Development // The World Bank. Washington, DC, 2000. P. 30.)

[13] Социокультурные особенности российской модернизации: материалы круглого стола.М.: Экон-Информ, 2009. С. 98.

[14] Миронов Б.Н. Русские революции начала XX века: уроки для настоящего // Полис. 2011. № 5. С. 37.

[15] Пивоваров Ю.С. “…И в развалинах век” // Полис, 2011, № 6.

[16] Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М.: Аграф, 1997. С. 29.

[17] Богатуров А.Д., Виноградов А.В. Анклавно-конгломератный тип развития. Опыт транссистемной

теории //Восток – Запад – Россия. Сборник статей. К 70-летию академика Н.А.Симонии. М.: Прогресс-Традиция, 2002; Богатуров А.Д. Анклавная природа мировой политики и перспективы формирования мирового общества // Современная мировая политика: Прикладной анализ. М.: Аспект-Пресс, 2009.

[18] Фурман Д. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. М.: Весь мир, 2010. С. 154.

[19] Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социс. 2001. № 1. С. 6–17.

[20] К ним, по мнению польского социолога, относятся: революция, государственный переворот, уличные бунты; крах рынка, кризис фондовой биржи; • радикальная экономическая реформа (национализация, приватизация и т.п.), иностранная оккупация, колониальное завоевание; принудительная миграция или депортация; геноцид, истребление, массовые убийства; акты терроризма и насилия; религиозная реформация, новое религиозное пророчество; убийство президента, отставка высшего должностного лица; разоблачение коррупции, правительственный скандал; открытие секретных архивов и правды о прошлом; ревизия героических традиций нации; крах империи, проигранная война

[21] Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социс. 2001. № 2. С. 3–12.

[22] Козер Л. Функции социального конфликта // Реферативный сборник.Социальный конфликт: современные исследования. М., ИНИОН АН СССР, 1991. С. 23.

[23] Там же. С. 24.

[24] Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Лагос, 2002.

[25] Darendorf R. 1969. Society and Democracy in Germany.Garden City, N.Y.: Doubleday. P. 140

[26] Тернер Дж.Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985. С.130–139.

[27] Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: Курс лекций для студентов магистратуры по социологии. СПб.: Интерсоцис, 2009. С. 83.

[28] Бердяев Н.А. Судьба России. М.: АСТ, 2010.

[29] Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М.: РОССПЭН, 2011. С. 190.

[30] Бердяев Н.А. Указ.соч. С.13.

[31] Кустарев А. Le style, c'est l'etat//Неприкосновенный запас, 2012, № 6.

[32] Dahrendorf R. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. Piper, Munchen, 1965.

[33] Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М.: РОССПЭН, 2002.

[34] «Политика — это процесс согласования наших предпочтений…» ***Бьюкенен Дж.*** Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Бьюкенен Дж. М. Сочинения. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 212.

[35] Известно умозаключение,приписываемое или казненному в 1740 г. русскому вельможе Артемию Волынскому, или юродивому царя Петра III Тихону: «Нам, русским, хлеба не надобно. Мы друг друга едим и тем сыты бываем». Один из основателей отечественной психиатрии, успешно применявший исторический анализ для составления психологических портретов, П.И. Ковалевский отмечал, что «главное у русских – ссоры, свара и вражда между собой». Концептуальной парадигмой современной отечественной политологии является тезис о российской элите как «*террариуме единомышленников*». См., напр., работы О.В. Гаман-Голутвиной: 1) Авторитаризм развития или авторитаризм без развития: судьбы модернизации на постсоветском пространстве // Вестник МГИМО Университета, 2010. № 4; 2) Метафизические измерения трансформаций российских элит // Политическая концептология, 2012, № 3.

[36] Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007. С. 492.

[37] Тилли Ч. Демократия. М.: АНО «Институт общественного проектирования», 2007. С. 27.

[38] Луман Н. Социальные системы. С. 491.

[39] Там же. С. 439.

[40] Пивоваров Ю. Русская политика в ее историческом и культурном отношении. М.:РОССПЭН, 2006. С. 24.

[41] Павловский Г. Гениальная власть! Словарь абстракций Кремля. М.: Европа, 2012. С. 48.

[42] Каспэ С.И. О понятии политической формы // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз, 2012. № 4. С. 11.

[43] Филиппов А. Политическое и полицейское // Независимая Газета,15 февраля, 2013.

[44] Цирель С.В. «QWERTY-эффекты», «PATH DEPENDENCE» и закон Серова, или возможно ли выращивание устойчивых институтов в России// Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2005, том 3, № 3. С. 44–57.

[45] Сперанский М.М. Проекты и записки. М. Л., 1961. С. 17.Ключевский характеризовал ум Сперанского как «воплощенную систему»,… «каких всегда бывает мало».

[46] Богатуров А.Д., Виноградов А.В. Анклавно-конгломератный тип развития. Опыт транссистемной теории //Восток – Запад – Россия. Сборник статей. К 70-летию академика Н.А. Симонии. М.: Прогресс - Традиция, 2002; Богатуров А.Д. Анклавная природа мировой политики и перспективы формирования мирового общества // Современная мировая политика: Прикладной анализ. М.: Аспект Пресс, 2009.

[47] Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: Академический Проект, 2005. С. 284.